

Р.М. ФРУМКИНА

Лингвистики и лингвисты

Почти за полвека, что я работаю в науке, мне постоянно приходилось отстаивать не столько свое право заниматься именно той проблематикой, которая меня интересовала, сколько утверждать, что будучи лингвистом, я занимаюсь именно *лингвистикой*. Лингвистикой, а не математикой: в конце 1950-х – начале 1960-х. Лингвистикой, а не психиатрией: в конце 1960-х. Лингвистикой, а не психологией зрения: в 1960-х – 1970-х. Лингвистикой, а не педагогической психологией, не дефектологией, не социальной психологией и т.д. И лишь недавно я с удовольствием прочитала в книге Г. Крейдлина, что замечание "*это не лингвистика*" наконец-то обесмыслилось [Крейдлин, 2002, с. 14].

А имело ли оно какой-либо смысл прежде? Или то были проявления сугубо административного рвения, согласно которому всяк сверчок должен был знать свой шесток? Действительно, и это имело место. Однако в целом описанная ситуация, в соответствии с которой ученый обязан был пребывать в пределах формальных дисциплинарных рамок, заслуживает обсуждения именно потому, что даже чиновное усердие в подобных случаях было обусловлено, по большей части, внеличностными причинами, связанными: 1) с организацией советской науки как государственного института; 2) с организацией советской и постсоветской науки как социального института, притом функционирующего в особых социальных условиях; 3) со специфической объектом исследований – в каждом частном случае.

Для меня третий пункт – это специфика естественного языка. Но аналогичные трудности поджидали и ученых, изучавших, например, социологию литературы, психологию детского чтения или время как социально-психологическую категорию.

Ниже первые два пункта будут рассмотрены сугубо конспективно: очевидно, что их обсуждение требует, как минимум, формата книги. Подробно я остановлюсь на третьем пункте и характере взаимодействий науки о языке с другими областями гуманитарного знания.

Советская наука как государственный институт

Как известно, западная система присуждения научных степеней такова, что аббревиатура Ph.D. (и аналогичные) "покрывают" и sciences и humanities. Кроме того, ответственность при этом полностью возложена на научные учреждения – государство вообще не имеет отношения к данным процедурам. У нас обе последипломные ученые степени – кандидатская и докторская – присуждались и присуждаются в соответствии с инструкцией государственной Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) и должны быть утверждены ею. Инструкция при этом предполагает, что любая работа соотносится с сеткой, отображающей достаточно узкую специализацию

Фрумкина Ревекка Марковна – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН.

по "отраслям" науки. Эта специализация отражена в шифре из шести цифр, например 10.02.19 ("теория языка") или 24.00.01 ("теория и история культуры") и т.д.

Понятно, что внутринаучные процессы опережают жесткие организационные структуры. Науки, а в особенности – науки гуманитарного цикла, всегда развиваются путем выхода за свою прежнюю территорию. Чем больше в работе новизны, тем меньше для нее шансов попасть в заранее предусмотренную ВАК клетку сетки.

Замечу, что распад организационных структур советской науки, последовавший за распадом СССР, породил не только постоянно обсуждаемую нищету науки (в буквальном смысле), но и ее блеск. В частности, либерализация организационной структуры науки позволила расшатать прежнюю сверхжесткую сетку специализации, открыв возможности институционального признания новых направлений – таких как политология, изучение коммуникативных процессов в малых группах, гендерные исследования и т.п. (Увы, продукция, выдаваемая ныне за тематически новые диссертационные исследования, да и просто за научные тексты, часто поражает сочетанием примитивности и прихотливости – но это особая тема, которой я здесь не касаюсь.)

Тем не менее диссертационный совет любого почетного, а в особенности – академического, научного института *a priori* относится с недоверием к работам, выполненным "на границах" привычной карты данной науки. Дабы не упоминать всуе имена реально действующих ученых, предположу, что К. Ясперс не мог бы защитить свою работу об А. Стриндберге в Институте мировой литературы РАН. Куда бы он мог представить известную работу о В. Ван Гого – я и вообразить не берусь. И это подводит нас к проблеме специфики постсоветской науки как социального института.

Постсоветская наука как социальный институт

Я рискну утверждать, что как социальный институт наша наука не только была, но во многом осталась достаточно ущербной.

Именно в качестве социального института наука основана на преемственности в сочетании с принципиальной и постоянной открытостью для критики не только частных результатов, но прежде всего своих собственных оснований. Это предполагает вовлеченность научного сообщества в открытое и сколь угодно острое обсуждение не только собственно научных, но и научно-общественных проблем. В частности, это мобильность и вариабельность в системе подготовки научных кадров; экспертиза компетентности лиц, наделенных правом принятия решений в науке; обеспечение доступности научной информации; организация взаимодействий с широкой общественностью; публичная критика псевдонауки и т.п. Очевидно, что все это возможно лишь при определенном уровне рефлексий и при развитой структуре публичного дискуссионного поля и вытекающего отсюда многообразия возможных позиций и социальных полей.

Публикуя статью или книгу, исследователь должен понимать, что его ждет суд коллег; читая курс лекций, он должен быть готов к критическому взгляду аудитории. В "поле науки" функции распределены так, что ничей авторитет не может считаться вечным, и никакой результат – окончательным. Любой символический капитал в науке есть следствие длительных усилий претендента на его приобретение. В то же время утрата этого капитала в случае научной ошибки или, тем более, намеренного введения в заблуждение научной общественности происходит весьма быстро.

Во всех упомянутых аспектах положение вещей в российской науке и сегодня оставляет желать лучшего. Каждый специалист сумеет привести свои убедительные тому доказательства.

Критика оснований и эпистемологическая рефлексия как условия эффективного функционирования науки

При обсуждении этой проблематики я для определенности ограничусь лингвистикой как областью своей профессиональной компетенции и ответственности.

Отмечу прежде всего, что в лингвистике преимущественно обсуждаются лишь результаты уже готового, отчужденного знания, но крайне редко – **процедуры**, с помощью которых эти знания были получены. В трудах лингвистов используются слова *эксперимент, наблюдение, гипотеза, проверяемость*. Но это вовсе не значит, что авторы вкладывают в данные понятия четкий смысл, то есть пользуются ими как терминами. Более того, разные ученые понимают содержание соответствующих процедур чуть ли не противоположным образом (ср. [Апресян, 1995; Паршин, 1996; Фрумкина, 1980, 1999; Wierzbicka, 1988; 1996]). Однако неизбежные противоречия и невозможность диалога остаются неотрефлексированными и не выносятся на суд научного социума.

Справедливости ради напомним, что лингвисты в этом не одиноки. Так, в науке о литературе ученые тоже весьма редко эксплицируют свои исследовательские процедуры и даже расходятся во мнениях по поводу того, что входит в их предметную область (см. об этом [Гаспаров, 1995; Гудков, 1994; Гудков, Дубин, 1994; Гудков, 1996; Дубин, 2002]). Неслучайно тома журнала "Новое литературное обозрение", где соответствующие проблемы целенаправленно обсуждались в аспекте методологии, назывались "*Другие литературы*" (1996, № 22) и "*Другие теории литературы*" (2003, № 59). Ситуация в культурологии и науках об искусстве аналогична: и здесь исследования, где обсуждаются *процедуры получения знания*, весьма малочисленны (ср. точку зрения М. Гаспарова в [Гаспаров, 1995], а также работы искусствоведов и культурологов [Паперный, 1996; Гройс, 1993; Магидович, 2003]).

Возвращаясь к лингвистике, подчеркну, что лингвисты именно как *научное сообщество* чужды проблемам, актуальным для профессиональных эпистемологов, авторитетных исследователей сущности и структуры научного знания. Я имею в виду таких ученых, как Т. Кун, К. Поппер, Н. Лакатос, Дж. Пойа, П. Фейерабенд, Дж. Поланьи, А. Любищев, М. Мамардашвили. Правда, большинство перечисленных авторов строят свой анализ, опираясь на эпистемологические коллизии в точных и естественных науках. Значит ли это, что гуманитарные науки от соответствующих коллизий свободны? Отнюдь нет.

Причина "эпистемологического равнодушия" профессиональных философов науки к проблематике гуманитарных наук, разумеется, кроется в ином. Для начала вспомним, что подлинно напряженные размышления о специфике "наук о природе" и "наук о духе" отделены от нас примерно столетием. Уже для классиков современного языкознания – членов Московского лингвистического кружка – А. Реформатского, П. Кузнецова, В. Сидорова, ученицей которых я имела счастье быть, труды М. Вебера или Г. Риккерта вовсе не были настольными книгами. В дальнейшем специальные работы, где бы всерьез обсуждалось "устройство" новейшего гуманитарного знания, были столь немногочисленны, что не предоставляли профессиональным философам науки нужного материала.

Многолетние дискуссии об эпистемологии исторической науки под девизом "faire l'histoire", в свое время инициированные французской исторической школой "Анналов", долго оставались исключением из общего правила (на русском языке об эпистемологии "анналистов" см. резюмирующую монографию [Гуревич, 1993]).

Итак, важно не столько то, что эпистемология гуманитарных дисциплин (лингвистики в том числе) мало развита. Более существенно, что подобные сюжеты *недостаточно проблематизированы*. Исследователи не склонны задавать себе вопросы о том, какие положения принимаются как само собой разумеющиеся, а какие остаются в области сильных, а то и сомнительных допущений, какие познавательные установки доминируют (ср. [Шрейдер, 1976]), каковы актуальные ценностные ориентации и что происходит при их смене и т.д. [Фрумкина, 1989].

В гуманитарных науках и сегодня не просматривается особой озабоченности по поводу необходимости теории среднего уровня в смысле Р. Мертона (в этой связи см. сравнение ситуации в исторической науке с положением вещей в лингвистике в [Фрумкина, 1996^a]). Достойная внимания книга Н. Копосова "Как думают историки"

[Копосов, 2001], с моей точки зрения, интересна именно как обзор попыток поставить вопросы упомянутого круга. Более заостренно эти вопросы ставятся в статьях упомянутого выше тома "Нового литературного обозрения" "Другие теории литературы".

Вообще говоря, в периоды относительно плавного развития науки ученый-эмпирик, как писал еще Вебер, по преимуществу одержим страстью овладеть предметным миром своей сферы исследования и мало озабочен тем, каким именно образом он *объясняет* свои данные. Соответственно, выбор познавательных стратегий не осознается в качестве *проблемы*, от решения которой зависят частные методы исследования, а значит, и выводы.

Как удачно сформулировал Л. Гудков, "только ситуация дисциплинарного кризиса предмета заставляет его (ученого-эмпирика. – Р.Ф.) в той или иной мере задумываться над сутью работы и осмысливать методы, которым он следует, изучая тот или иной мир. Успех этой методической рефлексии зависит от ряда причин, в том числе и от степени дифференцированности исследовательских ролей. Совпадение в одном лице специалиста-эмпирика и методолога почти наверняка является чистой случайностью, аномалией, биографической деталью. При прочих равных эти роли обычно разводятся" [Гудков, 1994, с. 30–31].

Исключения из описанной ситуации тем более поучительны, чем реже их находить. Таковы, например, принципиальная для эпистемологии гуманитарных наук работа Гаспарова о рецепции идей М. Бахтина [Гаспаров, 1979]; работы, проблематизирующие состав предметного поля в науке о литературе [Гудков, Дубин, 1994; Гудков, 1996; Дубин, 2001], в исторической науке (ср. [Глебов, Могильнер, Семенов, 2003]).

Причины описанного положения вещей отчасти ясны. Математика, физика, биология – это области знания, где вопросы о том, "как мы познаем", ставятся постоянно. Именно так называется книга, популяризирующая подобную проблематику на примерах из разных областей естественных наук и медицины [Голдстейн, Голдстейн, 1984]. Среди прочего, авторы детально раскрывают механизмы индуктивного рассуждения, позволившего британскому врачу Дж. Сноу понять причины распространения и contagiозности холеры еще в 1850-е гг. – то есть на том этапе развития эпидемиологии, когда еще не был открыт возбудитель холеры – холерный вибрион.

Не менее поучительна книга Д. Гилберта и М. Малкея "Открывая ящик Пандоры", также ориентированная на читателей-неспециалистов и анализирующая процесс критической ревизии и рецепции одной важной идеи в области биохимической энергетике, касающейся процессов окислительного фосфорилирования [Гилберт, Малкей, 1987]. Чтобы пояснить уместность отсылки к обсуждению, казалось бы, узкой проблемы и к тому же – отнюдь не из области гуманитарных наук, скажу кратко о предмете этой книги.

В 1961 г. английский биохимик П. Митчелл предложил теорию, объясняющую некоторые экспериментально засвидетельствованные феномены, касающиеся биоэнергетических процессов в клетке. Что именно имел в виду Митчелл, его коллеги поняли лишь через пять лет; потом еще десять лет ушло на попытки экспериментально опровергнуть его теорию. Окончился же этот драматический процесс прямым экспериментальным доказательством справедливости концепции Митчелла.

Любопытно, что соответствующие экспериментальные результаты были получены отнюдь не самим Митчеллом, который вел уединенную жизнь в маленькой частной лаборатории и ограничивался устными опровержениями позиций своих противников, а самими этими противниками. Провидческая идея Митчелла в конце концов принесла ему Нобелевскую премию, но, как заметил в предисловии к обсуждаемой книге академик В. Скулачев, бывший одним из участников этой драмы идей, окончательный *консенсус* по этой проблеме так и не был достигнут (по крайней мере, таково было положение дел в 1987 г.).

Гилберта и Малкея, разумеется, занимала не история биологии как таковая, а *структура социальных действий ученых* как акторов на арене науки. Именно ради постижения этой структуры спустя почти двадцать лет после публикации теории

Митчелла они собрали более 30 интервью у его коллег и проанализировали большое число дискуссионных статей в специальных изданиях.

Как обогатилось бы наше гуманитарное знание, если бы нашлись ученые, готовые проделать подобную работу по поводу, например, основных концепций Ю. Лотмана. Или проследить историю взаимодействия прикладных задач автоматического перевода текста и структурной лингвистики с точки зрения смены критериев "научности" и, что не менее важно, ценностных ориентаций (кратко эта проблема рассматривается в [Перцов, 1996; Фрумкина, 1996⁶]).

В точных и естественных науках были кризисы и "научные революции", но фундаментальные критерии *научности* остались стабильными. В частности, везде, где основными методами получения знания являются доказательство, наблюдение и эксперимент, имеются общепринятые критерии того, какой вид рассуждений можно считать доказательством, какие процедуры – наблюдением, а какие – экспериментом. Именно поэтому даже в ситуациях смены парадигмы споры о том, как мы получаем научное знание, как его фиксируем и как транслируем результаты в социум, носят конкретный характер, а не переходят в чисто вкусовые рассуждения и оценки. Консенсус или его отсутствие может касаться валидности методик, статистической достоверности результатов или масштаба интерпретаций, но то, что предъясвляется в качестве *доказательства*, достаточно редко подвергается сомнению именно с точки зрения процедуры. (Глубокие размышления на эти темы находим в книге [Мамардашвили, 1997]).

Что обеспечивает подобную стабильность и достижение консенсуса?

В науке – именно как в социальном институте – помимо массивов накопленного знания существует некоторый *канон*, предписывающий общепринятый способ перехода от "предзнания" к артикулированной постановке проблемы. Действовать вне правил здесь решаются только дилетанты или безумцы. В сфере sciences, то есть точных и естественных наук, соответствующий канон четко эксплицирован. Н. Лобачевский построил "другую" геометрию, предложив другой постулат о параллельных прямых вместо пятого постулата Эвклида, но научные каноны математики как таковой остались незыблемыми. Что касается humanities, или lettres, – наук гуманитарного цикла, такие каноны тоже есть. Однако же они, как правило, остаются без экспликации, так что поле возможных интерпретаций актуального канона (или череды сменяющихся канонов) оказывается плохо очерченным.

Разумеется, нельзя сказать, что попытки выйти на *метауровень* в сфере гуманитарного знания вовсе не предпринимаются. Но эти попытки по преимуществу носят весьма своеобразный характер.

С точки зрения лингвиста, особенно поучительным примером может служить книга Х. Уайта "Метаистория" (1973 г.), вызывавшая уже в 1980-е гг. некое смятение умов в среде собственно историков, а также историков литературы и культуры. Именно это смятение и было в свое время названо "лингвистический поворот".

Круги от "поворота" докатились до нас в последнее пятилетие и увенчались переводом труда Уайта на русский язык через 30 лет после его публикации на английском [Уайт, 2002]. Остановимся на этом сюжете несколько подробнее, дабы понять, отчего "поворот" был назван "лингвистическим" и имеет ли он в действительности отношение к лингвистике, тем более что, насколько мне известно, российские лингвисты по этому поводу не высказывались.

Историки и историографы давно отказались от максимы Л. фон Ранке, согласно которой смысл деятельности историка – в ответе на вопрос "как же все было на самом деле?". Но до Уайта никто как будто не утверждал, что главное в работе историка – это *литературные приемы*, причем не вообще "приемы", а именно приемы определенные – прежде всего – тропы, метафоры. Именно они, согласно Уайту, дают возможность создать эффект объяснения, позволяя обеспечивать не только связность изложения, но и строить интерпретативные сетки.

Основы создания исторического канона, по Уайту, "по своей природе поэтические, а еще точнее, языковые" [Уайт, 2002, с. 50]. Значит, и написание исторического

труда должно рассматриваться в рамках *поэтики* – то есть не вообще поэтики, а поэтики истории. Уайт оговаривается, что его трактовка касается анализа текстов: "В этой теории я трактую историческое сочинение как то, чем оно по преимуществу и является: *словесной структурой в форме повествовательного прозаического дискурса*" [Уайт, 2002, с. 17]. Но ведь историк (в отличие от археолога или палеоботаника) всегда имеет дело почти исключительно с текстами, поскольку события прошлого известны ему именно из текстов, и знания свои он неизбежно оформляет тоже как тексты.

Отмечу, что Уайт – далеко не единственный, кто отвел *метафоре* особое место именно как инструменту создания новых смыслов в *научных* построениях. Здесь, насколько я могу судить, глубинное влияние имел подход прославленного американского антрополога К. Гирца, который выделил метафору как эффективный способ наделения мира смыслами – по Гирцу, именно такая деятельность называется идеологической [Гирц, 1998; Зорин, 2001; Козлов, 1998].

В понимании Гирца, *идеология* имеет своей задачей осуществлять ту разметку социальной среды, которая позволяет коллективу и индивиду обживать социальное пространство. А троп служит при этом главным инструментом идеологического мышления.

Почему троп? Почему именно метафоре, пусть весьма широко понимаемой, Гирц отводит такую особую роль?

Возможно, потому, что сам процесс *разметки* мыслится им как наречение именами новых, до того не замеченных или не понятых объектов, явлений и связей между ними. При этом новые имена естественно присвоить так, чтобы их семантика оставалась прозрачной, понятной. Тогда самый "короткий" путь – снабжение чего-то нового *чертами известного*. Так, если я хочу сказать, что некто обладал особыми гражданскими доблестями, и при этом остаться предельно краткой, то проще всего сделать это через троп, назвав это лицо, например, Катонем. Суть тропа – наречение, именование точек *неизвестного* социального пространства с помощью присвоения новым означаемым таких означающих, которые уже *освоены в предыдущем социальном опыте*. Выражаясь в привычных для лингвиста терминах – это использование *механизмов переноса*, притом самых разных, не обязательно только метафорических в узком смысле слова (ср. [Lakoff, Johnson, 1980]).

Замечу, что при таком ракурсе не видно принципиальной разницы между выражениями "*картофель – второй хлеб*" и "*Пиндару он подобен*". Достаточно вообразить представителя иных культур, который не знает понятия "хлеб" и не знает, кто такой Пиндар, как становится понятным, что указанные уподобления в данном случае не будут работать, поскольку тогда одно неизвестное описывалось бы через другое неизвестное.

В Книге Иова читаем: "*...человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх*" (Иов, 5, 7). Здесь по крайней мере три тропа: 1) явное сравнение с искрами, 2) неявная метафора "верха" как чего-то заведомо позитивного, 3) скрытая метафора горения/(само)сожжения как присущего человеку именно в меру (или в силу) его *человечности*. Тем самым основы иудео-христианской традиции с помощью тропов оказываются "упакованы" в одну, притом легко запоминающуюся строку.

Сакральные тексты, рассчитанные на устную трансляцию, так и пишутся. Но раз ве исторический нарратив *неизбежно* строится так же?

Вне зависимости от ответа на данный вопрос стоит подчеркнуть, что проблематика взаимодействий между исторической наукой и науками о литературе, вместе с интерпретацией терминов "лингвистический поворот", "новый историзм", "текстоцентричность" и т.п., в России оживленно обсуждается филологами, социологами и историками (что видно из приведенных выше ссылок). Но эти сюжеты вовсе не занимают современных лингвистов!

Лингвистика как бы пресытилась тем – увы, довольно скудным – анализом собственных оснований, который в конце 1950-х – начале 1960-х был связан с освоением

идей структурализма в сосюрловском варианте и, соответственно, наследия Московского и Пражского лингвистических кружков.

Тартуско-московская семиотическая школа также была несомненным источником вдохновения для многих "структурных" лингвистов, но собственно лингвистические исследования никогда не были центром интереса для круга Лотмана. И если уход из жизни Лотмана побудил многих филологов из его ближнего и дальнего окружения не только к ностальгическим воспоминаниям, но и к критическим рефлексиям по поводу чаемого, достигнутого или недостижимого для семиотики, то среди лингвистов ничего похожего не наблюдается.

Законы и обычаи

Итак, каноны есть везде. Но там, где в sciences царит *закон*, который, к тому же еще и отрефлексирован, в lettres преобладает неотрефлексированный *обычай*. Обычай этот чаще всего имеет вид явной или скрытой отсылки к той или иной традиции.

Вообще говоря, любая научная работа *может* начинаться фразой, соотносящей интерес автора к обсуждаемой проблеме с его предшественниками по схеме "еще X показал то-то, мы же намерены добавить к этому/уточнить/усомниться" и т.п. Однако в точных и естественных науках нередко работа начинается in medias res. Зато в lettres статья практически *не может быть начата иначе*, нежели с отсылки к предшественникам; именно традиция должна служить оправданием "предзнания" и, соответственно, источником "легитимности" избранной проблемы.

В sciences, далее, имеется канон, касающийся способов убеждения научного сообщества в своей правоте и разумности. Как известно, мало доказать теорему, надо еще записать доказательство в соответствии с общеизвестными правилами. Основанные на обширных экспериментах гениальные интуиции Э. Резерфорда, воплощенные в его модели атома, получили полноценное объяснение только после того, как Н. Бор и Л. Де Бройль выработали необходимое физическое обоснование, в результате чего был создан новый математический аппарат.

Не менее жестки и правила описания результатов, полученных путем наблюдений и экспериментов. Когда знаменитый опыт А. Майкельсона 1881 г. по определению скорости распространения света дал результаты, существенно противоречившие представлениям классической механики, ученые более двадцати лет пытались *увеличить точность измерений* – пока А. Эйнштейн не показал, что результаты Майкельсона объяснимы только при условии выхода за границы классической физики.

Наконец, и это особенно важно, в точных и естественных науках существует язык, позволяющий – по крайней мере в пределах конкретной парадигмы – соответствующие каноны обсуждать или оспаривать.

Положение вещей в науке о языке много сложнее, о чем мне уже приходилось писать [Фрумкина, 1995; 1996^a; 1999]. В лингвистике нет не только канонов: в ней отсутствует "теория среднего уровня" в смысле Р. Мертона, то есть вообще нет общепринятого языка для обсуждения эпистемологической проблематики. Лучшая возможность в этом убедиться – работа с начинающими и притом нетривиально мыслящими молодыми лингвистами.

Попробуйте, например, внятно объяснить толковому студенту, что Ф. де Соссюр не отменяет В. Гумбольдта; что наблюдать мы можем либо чуждое речевое поведение, либо содержание собственной психики, но никак не *язык*. Что в *сосюрловской* лингвистике нет места эксперименту, из чего вовсе не следует, что собственно лингвистический эксперимент невозможен. Еще сложнее убедить молодого автора в том, что любое лингвистическое исследование, даже самое простое, должно быть построено так, чтобы следовать некоторым требованиям, общим для *науки как таковой*, а именно: 1) используемые исследовательские приемы должны быть выделены именно как приемы, методы; 2) не следует объяснять неизвестное через непонятное; 3) должно быть четко определено понятие *результата*; 4) при условии при-

менения тех же методов и приемов, результат должен быть принципиально воспроизводим: другой ученый должен иметь возможность получить, если не в точности такой же, то по крайней мере сопоставимый результат.

Перечисленные требования очевидны до тривиальности. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все не так просто, и не только для начинающих. Примерно к середине 1970-х гг. стало ясно, что лингвистика (как и другие науки о человеке) не может быть "устроена" наподобие точных или естественных наук. Параллельно, вначале – благодаря особому ценностному положению семиотики в СССР, а после 1987 г. – благодаря валу переводных работ (преимущественно французских авторов), наша лингвистика пережила длительный иску́с, подвергаясь соблазну раствориться в семиотических и культурологических штудиях.

Растворения не произошло, но определенное размывание критериев несомненно имело место. Именно в этой связи Гаспаров некогда заметил, что в науке при некоторых заданных условиях у разных ученых получается один и тот же результат, давая понять, что лингвистика покинула эту почву [Фундамент... 1989].

Укажу на одну важную тенденцию, общую для лингвистики и других "наук о человеке", проявившуюся отчасти как реакция на торжество наук точных. Это стремление уйти от атомарности позитивистских описаний и найти крупные структуры, детерминированные социальными и коммуникативными. Поскольку исходные структуры нашего опыта в непосредственном переживании нам не даны, предлагаются разные гипотетические механизмы, описывающие их формирование и функционирование.

Например, в построениях такого авторитетного лингвиста-когнитивиста, как Р. Лангакер, активно подчеркивается, что окружающий нас мир создается человеком (*is construed*) и интерпретируется [Langacker, 1987]. Мы действительно *создаем мир с помощью нашей психики*, и потому в сфере *lettres* духовная феноменология оказывается неустранимой. Согласно Лангакеру, из этой посылки вытекает следующее:

- говорящий интерпретирует Мир "Действительность" в зависимости от своих установок и компетенции. Так, я могу, глядя на настольную лампу, сказать, что я вижу *лампу, лампу с зеленым абажуром*; могу описать, где она размещена – например, слева на столе, но могу и не упоминать об этом;

- Мир "Действительность" в моей интерпретации всегда *преобразуется*: например, когда мои наручные часы показывают 12 часов 33 минуты, в общем случае я округляю это число и говорю, что сейчас *половина первого*;

- говорящий всегда (чаще – скрыто) имеет в виду фоновые знания слушающего – таковы, например, слова типа *холостяк* или *старомодный*;

- состояния или качества одних объектов могут описываться через такие состояния или качества, которые присущи совсем иным объектам: ср. метафорические переносы наподобие *он взорвался* ("вспылл"); *я оттаял* ("смягчился") и т.п.;

- говорящий всегда оценивает структуру своего окружения в терминах существенное/несущественное, иными словами, мыслит мир "не-Я" в терминах фон/фигура.

Эти констатации сами по себе не могут вызвать возражений. Проблема в том, как сделать следующий шаг. Лангакер полагает, что в результате упомянутых ментальных операций возникает некий новый объект. Этот новый объект, отражающий созданный субъектом мир, предлагается называть *дискурсом*.

Дискурс в данном понимании, казалось бы, отличен от совокупности речевых актов и текстов. Но дело не в выборе термина. Чтобы работать с дискурсом "в смысле Лангакера", надо понять, как конструируется дискурс в качестве *предмета* исследования из *объекта*, существующего независимо от исследователя в виде бесконечного числа актов устной и письменной речи. Сказав же *дискурс tout court*, мы предлагаем объяснить неизвестное через непонятное.

Замечу, тем не менее, что с точки зрения ценностных ориентаций когнитивизма, исследовательская *мифологема дискурса* объяснима – это реакция на фрагментарность ранее опробованных подходов. Лингвисты как бы утомлены тем, что, изучая лишь отдельные "кирпичики" – фонемы, слова, трансформации отдельных фраз,

они все еще могут предложить теорию, которая бы описывала построение из них связного текста. То, что от указанных "кирпичиков" и в самом деле не удастся без натяжек перейти к смыслам более крупных образований, подтверждает феномен так называемой "лингвистики текста", когда стало ясно, что из любых операций на уровне фразы не выводимы, притом принципиально, "человеческие" операции с абзацем и тем более с текстом как с целым (созвучную этим тезисам трактовку см. в [Левин, 1994]).

Дело в том, что слово, превращенное исследователем в предмет *семантического анализа*, становится изолированным сгустком смысла, словом *in vitro*, то есть конструктором со своим модусом существования. Такое слово – реальность нашей исследовательской практики, а не то слово, с которым мы имеем дело *in vivo*. Ведь это мы поместили его в лабораторный контекст семантики, то есть препарировали, дабы затем до- и при- мыслить все допустимые для него правильные контексты. *In vivo* говорящий никогда не имеет дела со смыслом слова во всем объеме, но лишь со смыслом, реализованным в локальном контексте. То же, вообще говоря, верно для смысла фразы.

Но что из этого следует? Получается, что в определенном отношении фраза *не состоит из слов*, а текст *не состоит из фраз*. В свою очередь, слово, разумеется, *не состоит из фонем*, поскольку фонема – это конструктор. А фонетист отметит, что слово *не состоит из звуков*, поскольку членение слова на отдельные звуки – это инструментальная операция, базирующаяся на достаточно сложной теории.

Но здесь я остановлюсь, дабы заметить: исследователь, работающий с *дискурсом* (рабочее определение его я дам ниже), глубоко безразличен к проблеме того, *из чего состоит слово*. Для него лингвистика – это наука с совершенно иным объектом и предметом.

Лингвисты и лингвистики

Мне представляется удачным определение дискурса, сформулированное А. Жолковским, предложившим понимать его как "воплощенные в речи мироощущение и жизненную позицию" [Жолковский, 1995, с. 190]. Каждый ли лингвист согласится с подобным определением? Для нашего рассуждения существенно то, что это, строго говоря, *не имеет никакого значения*. Но как это возможно при принципиальной значимости понятия дискурса для современной науки?

Причина проста: многие лингвисты никогда не столкнутся с проблемой дискурса как важной для своей профессиональной работы. Другие их коллеги могут столь же благополучно обойтись без решения вопроса о том, к какой школе они присоединятся в понимании фонемы – к Московской или к Ленинградской. И это тоже закономерно. Потому что язык не просто многолик или многоаспектен. Как только мы от языка как *объекта исследования* обращаемся к языку как к *предмету исследования*, то есть конструированию того поля, к которому приложим собственно научный анализ, этих разных предметов оказывается даже не несколько, а просто много. И презумпции, важные для исследования какого-либо одного из них, могут быть весьма далеки от презумпций, необходимых для исследования другого/других.

Так, типология языков как программа сравнительного изучения *неродственных* языков имеет в качестве презумпции уверенность в том, что во всех языках должны быть выражены некие достаточно общие для любой культуры смыслы, например принадлежность, позитивная/негативная оценка, завершенность/незавершенность действия и т.п. Но специалист, изучающий, скажем, русскую разговорную речь как особую систему, озабочен утверждением постулатов, лежащих вообще в иной плоскости.

Еще А. Мейе говорил, что лингвистик столько же, сколько и лингвистов. За прошедшее с тех пор немалое время лингвистов несомненно стало больше – хотя бы потому, что наука стала массовой профессией. Лингвистик тоже стало больше – но в контексте данного обсуждения существенно не это, а совсем иной момент: изменился *идеальный проект* лингвистики как гуманитарной науки.

Идеальный проект науки – это в самом общем виде ответы на вопросы о том, что нужно изучать и почему ценностью считается изучение именно "этого", а не чего-либо иного.

Идеальный проект по определению не может быть реализован до конца: потому он и называется "идеальным". Но осознание идеального проекта как воплощения целей и ценностей, доминирующих на данном этапе развития науки, исключительно важно для всех работающих в ней. Смена идеальных проектов произошла и в других науках гуманитарного цикла – в исторических науках, в науках о культуре и искусстве, в науке о литературе. Появились "другая" история, другие теории литературы и культуры.

В лингвистике смена идеального проекта умножила число "лингвистик", породив интерес к разным способам выражения культурных смыслов. В результате оказалось, что именно в своих основаниях лингвистика глубинно связана со многими науками о человеке и обществе: с исторической наукой, с наукой о литературе, с искусствоведением (как специализированными представлениями об искусстве), с этикой как наукой о морали, с социологией как наукой об обществе, его ценностях и нормах.

Вопрос, что же из этого вытекает для самой лингвистики, остается открытым. Ясно пока лишь то, что в перспективе с большой вероятностью возникнет несколько сложно связанных между собой идеальных проектов науки о языке, ориентированных на разные стороны структуры языка и разные его функции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. Новый объяснительный словарь синонимов: концепция и типы информации // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.

Гаспаров М.Л. Анализ поэтического текста Ю.М. Лотмана: 1960–1990 годы // Лотмановский сборник. 1. М., 1995.

Гаспаров М.Л. М.М. Бахтин в русской культуре XX века // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979.

Гилберт Д., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. Социологический анализ высказываний ученых. М., 1997.

Гириц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. 1998. № 29.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. М., 1984.

Глебов С., Могильнер М., Семенов А. "The story of us": Прошлое и перспективы модернизации гуманитарного знания глазами историков // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.

Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993.

Гудков Л.Д. Массовая литература как проблема. Для кого? // Новое литературное обозрение. 1996. № 22.

Гудков Л.Д. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М., 1994.

Гудков Л.Д., Дубин Б.В. К понятию литературной культуры // Литературный процесс и проблемы литературной культуры. Таллин, 1988.

Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт. М., 1994.

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа "Анналов". М., 1993.

Дубин Б.В. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы // Новое литературное обозрение. 2002. № 57.

Дубин Б.В. Слово. Письмо. Литература. М., 2001.

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... М., 2001.

Жолковский А.К. Ж/З Заметки бывшего пред-пост-структуралиста // Жолковский А.К. Инвенции. М., 1995.

Козлов С.Л. К преодолению одной фобии // Новое литературное обозрение. 1998. № 29.

Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001.

Крейдлини Г.Е. Невербальная семиотика. М., 2002.

Левин Ю.И. Истина в дискурсе // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994.

Магидович М. Поле искусства как предмет исследования // Новое литературное обозрение. 2003. № 60.

- Мамардашвили М.К.* Стрела познания. набросок естественно-исторической гносеологии. М., 1997.
- Паперный В.З.* Культура Два. М., 1996.
- Паршин П.Б.* Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
- Перцов Н.В.* О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996.
- Уайт Х.* Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.
- Фрумкина Р.М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. М., 1995.
- Фрумкина Р.М.* Куда ж нам плыть?.. // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996^б.
- Фрумкина Р.М.* Лингвистическая гипотеза и эксперимент (о специфике гипотез в психолингвистике) // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Фрумкина Р.М.* Проблема “язык и мышление” в свете ценностных ориентаций // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.
- Фрумкина Р.М.* Самосознание лингвистики – вчера и завтра // Известия АН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 4.
- Фрумкина Р.М.* Теории среднего уровня в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996^а. № 2.
- Фундамент и этажи // Знание – сила. 1989. № 6.
- Шрейдер Ю.А.* Сложные системы и космологические принципы // Системные исследования-1975. Ежегодник. М., 1976.
- Lakoff G., Johnson M.* Metaphors we Live by. Chicago–London, 1980.
- Langacker R.* Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford (Call), 1987.
- Langacker R.* Possession and Possessive Constructions // Language and Cognitive Construal of the World. Berlin–New York, 1995.
- Wierzbicka A.* De Semantics of Grammar. Amsterdam–Philadelphia, 1988.
- Wierzbicka A.* Semantics. Primes and Universals. Oxford (U.K.) – New York, 1996.